

Олег Николитч

# Поручик Каренин

1914 – 1917



Олег Николич  
**Поручик Каренин**

«Автор»

2026

## **Николич О.**

Поручик Каренин / О. Николич — «Автор», 2026

«Поручик Каренин» Историческая драма о цене человеческой жизни на изломе эпох. Поручик Каренин, педантичный штабной офицер и бывший банковский клерк, получает абсурдное дело. Каренин пускается в изнурительную Одиссею по инстанциям воюющей империи. Поиск безликого солдата оборачивается для героя крушением всех иллюзий. Хроника гибели старого мира: Июль 1914 — Март 1917 года.

© Николич О., 2026

© Автор, 2026

## Олег Николитч Поручик Каренин

### *Высочайший указ Николая II*

*«Приведя армию и флот на военное положение, повелеваем: призвать на действительную службу из запаса... необходимое число чинов армии и флота, а также поставить от населения потребных для войск лошадей и повозки.*

*К призыву и поставке означенных чинов, лошадей и повозок приступить с 18-го сего июля.*

**17 июля 1914 г.**

\*\*\*

Высоко в бледном галицийском небе кружили и пикировали аэропланы, похожие на блестящих разноцветных насекомых. Они ловили редкие отблески солнца своими металлическими фюзеляжами и полупрозрачными крыльями.

Для любого пилота или наблюдателя, имевшего время для простых размышлений, открывавшаяся внизу картина могла показаться удивительной. От далеких тыловых узлов с их бесконечным движением эшелонов тянулись железные дороги, тракты и телеграфные провода. По этим трем артериям шли грузы, людская масса и человеческая мысль.

Все это стекалось в точки прямо за линией фронта — в склады, полевые лагеря (склады людей) и штабы (склады умов). Там они ненадолго завихрялись, а затем снова устремлялись вперед. Медленнее и скрытнее, под покровом ночи или по траншеям, они двигались к самому бою.

Там они бесследно исчезали в страшном провале бытия — в той бесплодной полосе, где Неодолимая Сила, столкнувшись с Неподвижной Преградой, перемалывала все в мельчайшую пыль. Из этой полосы возвращалось ничтожно мало припасов, единицы людей и совершенно ничего от человеческих мыслей.

Но пилотам и наблюдателям было не до отвлеченных видов. Они были слишком заняты участием в этом Кровавом Карнавале или спасением собственных шкур от черных разрывов Смерти, упрямо преследовавших их в вышине.

Даже если бы они заинтересовались происходящим внизу, они не смогли бы приподнять крышу над ратушей местечка — почти городка — Подгайцы. А заглянув в кабинет бургомистра, они увидели бы сидящего там человека среднего роста и самого обыкновенного мещанского склада.

Сам его вид казался чужеродным для этого места, чье провинциальное достоинство за последние месяцы оскорбляли слишком часто. Сначала ратушу — эту былую обитель покоя и неторопливого австрийского чиновничества — превратили в канцелярию квартирмейстерской части штаба дивизии Русской императорской армии. Её заселили двое-трое русских штабных офицеров со своими картами и приказами, вестовые, писаря, жандармы и прислуга.

И вот теперь ко всей этой компании добавился этот тихий, погруженный в работу молодой человек. Его лицо, волосы, фигура и одежда несли на себе отпечаток той умеренной аккуратности, что отличает людей, работающих в помещениях и не ждущих от жизни слишком многого. Это был молодой человек, у которого не было при себе ни генеральских лампас, ни высоких кавалерийских сапог — и у которого, судя по всему, было невероятно много дел.

Старые стены молча наблюдали. Ратуша Подгайцев, наполовину корчма, наполовину управа магистрата, за свои двести лет навидалась солдат. Строили её ещё при польских королях, и с тех пор в её залах сменяли друг друга австрийцы, венгры, казаки и русские регулярные полки в ярких мундирах, с чисто солдатской праздностью и шумом.

У этого же офицера ничего подобного не было. Он сидел, уткнувшись носом в бумаги, скрупулезно изучая карты и рапорты. Изредка он почтительно обращался к полковнику Березину — настоящему кадровому офицеру, чей левый борт френча пестрел орденскими колодками, а лицо выражало благородную скуку и безупречную выправку. Полковник лишь молча кивал или качал головой.

Всё это лишь подтверждало: эта Война была непохожа на прежние. Она оказалась слишком широкой и глубокой, словно сами устои жизни сорвались с якорей в каком-то подземном море, и всё привычное здание цивилизации зашаталось. В ней не осталось места благородным перерывам или разумным границам, которые раньше позволяли армиям расходиться на зимние квартиры, а мирным людям — всё это время продолжать свое ремесло.

Серая шинельная фигура, прикомандированная к штабу дивизии, чье имя было Степан Дмитриевич Каренин, не предавалась подобным размышлениям. Он просто делал свое дело. Он был с головой погружен в работу, когда возглас его временного начальника заставил его поднять глаза.

Полковник откинулся на спинку стула (казенного, железного, для нужд господ офицеров), вытянув свои щегольские ноги в безупречных кожаных крагах под армейским столом. В вытянутой руке он держал синий печатный бланк, заполненный чернилами от руки.

Каренин прекрасно знал эту бумагу. Это был официальный бланк временной военной администрации, на котором галицийским или польским подданным предписывалось подавать прошения о возмещении убытков, причиненных расквартированными войсками.

Рот полковника слегка приоткрылся, а пенсне соскочило с переносицы.

— Вы ведь говорите на этом... как его... местном наречии?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — ответил Каренин, мысленно молясь, чтобы речь не шла о венгерском. — На каком именно, господин полковник?

— Да тут... по-польски написано. И частично на латыни.

Да, он понимал по-польски и поспешил взглянуть на бумагу. В мирной жизни Каренин был обычным банковским клерком. Как и у многих молодых людей его круга, у него была амбициозная бабушка, имевшая свои виды на его продвижение по общественной лестнице. Именно она когда-то настояла, чтобы внук усердно учил польский язык.

Зачем ей это понадобилось, так никто никогда и не узнал. Разве что она считала это признаком истинной благородности и светского лоска, ведь сама она принадлежала к эпохе, когда общество строго делилось на благородных господ и простых людей. Себя она относилась к первой категории и ни за что не позволила бы своим потомкам скатиться в простонародье. Поскольку за дополнительные уроки бабушка платила из собственного кармана, её доводы были неопровержимы. Так мальчик, которому судьбой была уготована самая прозаическая карьера в провинциальном отделении банка, к 1910 году вполне сносно изъяснялся на языке Мицкевича и Сенкевича.

Он едва ли вспоминал об этом до тех пор, пока посреди бури европейской войны не обнаружил, что эта самая война забросила его в края, где польская речь и латынь звучали на каждом шагу, а знакомые фразы то и дело долетали до его слуха. Это знание сослужило ему отличную службу, позволив обустроить быт как самого себя, так и господ офицеров. Впрочем, Каренин никогда этим не хвастался: за годы чиновничьей службы у него выработалось глубокое недоверие ко всему, что выходило за рамки казенных служебных инструкций.

Однако слухи о его редком таланте упрямо ползли впереди него. И когда после года невероятных тягот, окопной грязи и вшей его безупречная исполнительность и педантичность были вознаграждены тихой штабной должностью в квартирмейстерской части дивизии, его репутация полиглота уже ждала его там.

Поэтому со вздохом и мысленной мольбой в духе *«избавьте меня от этих бесполезных лавров»* он поднялся со своего места и подошел к столу начальника. Там, на синем бланке, его встретила размашистая фраза:

— *«Zrujnowali Najświętszą Dziewicę w moim domu!»*.

— Что за чертовщина? — нахмурился полковник Березин, пытаясь разобрать чужие буквы. — Что значит это их *Zrujnowali*? В моем карманном словаре такого слова нет!

— Я бы сказал — испортили, разрушили, ваше высокоблагородие. Местные так выражаются, когда наши казаки пускают коней на их необрунные поля.

— Так-так, и как же это тогда читать? Разрушили... нет, постой. Испортили, ты говоришь? *«Испортили Пречистую Деву в моем доме»*. Ну и дела! Пахнет скверной историей, особенно учитывая, как сейчас Ставка трясется над лояльностью этих галичан!

Каренин просто не мог поверить своим ушам:

— Разрешите взглянуть на само прошение, господин полковник?

— Извольте. Идите сюда. Поправляйте меня, если я где-то собьюсь с толку.

Полковник Березин знал польский язык чуть лучше, чем думал о нем Каренин. Он прочитал синий бланк, печатный вопрос за вопросом и чернильные ответы до самого конца. Выглядело это следующим образом:

*Вопрос: Когда был причинена порча?*

*Ответ: В прошлый четверг.*

*Вопрос: Какие войска несут за это ответственность? Укажите номер и название русской части.*

*Ответ: Рядовой Девятой конно-горной батарее.*

*Вопрос: Присутствовали ли вы лично и видели ли момент порчи?*

*Ответ: Нет, но моя дочь знает все подробности.*

*Вопрос: При каких обстоятельствах была причинена порча?*

*Ответ: Он разбил каплицу. Она крикнула ему, но он ответил бранью.*

*Вопрос: Можете ли вы доказать вину: а) с помощью свидетелей?*

*Ответ: Моя дочь.*

*Вопрос: б) с помощью протокола осмотра?*

*Ответ: Они оскорбили гминного старосту, когда тот пришел его составить!*

*Вопрос: в) с помощью признания самих виновных?*

*Ответ: В этом нет нужды. Всё и так прекрасно видно.*

*Вопрос: Жаловались ли вы командиру части?*

*Ответ: Он и слушать не стал.*

И всё в таком же духе.

Ниже значилось: *«Составлено и скреплено печатью в управе местечка Городок. Прощение о возмещении убытков от господина Яна Дорошевича, земледельца, 64 лет от роду. Заверено нами, старостой Алоизием Свандовским»*.

— Ну и что вы на это скажете? — спросил полковник.

Каренин мог бы сказать многое, но благоразумно промолчал.

— Я не могу в это поверить, ваше высокоблагородие. Я знаю этот постой. Помню панну Марысю, дочь Дорошевича. Она сильная как мужик и куда решительнее большинства из них. Здесь какая-то ошибка!

— Довольно подробная ошибка, вам не кажется? — хмыкнул полковник. — Вы только посмотрите на сопроводительное письмо, которое пришло вместе с этим.

Полковник протянул ему бумагу с бланком «Ставка Верховного Главнокомандующего» и припиской от Канцелярии по гражданскому управлению: *«Просим обратить надлежащее внимание»*. К ней прилагалась еще одна записка, уже из штаба нашего армейского корпуса: *«Направляется вам для исполнения»*.

— Гражданские власти на нас и так зуб точат в последнее время, — вздохнул Березин. — Представляю, какой шум они подымут из-за этого дела. Нужно немедленно произвести арест. Писарь!

К дверям приемной подошел старший писарь — в мирной жизни архитектор, призванный по мобилизации.

— В районе какого корпуса находится этот Городок?

Писарь мгновенно отыскал точку на огромной карте, приколотой к стене:

— В районе Четвертого, ваше высокоблагородие.

— Отлично. Дайте им телеграмму: пусть займутся делом и арестуют виновного.

— Разрешите одно замечание, господин полковник! — подал голос Каренин, чувствуя, что это звучит дерзко.

Начальник повернул к нему пенсне с холодным недоумением кадрового офицера. Ему было трудно представить, какое такое «замечание» может быть у офицера военного времени. Но Каренин уже дважды присутствовал на военно-полевых судах. Мысль о том, что какого-нибудь несчастного солдата вытащат из окопа и пустят по этапу ради этой нелепицы, придала ему смелости.

— Если мы сейчас произведем арест, придется запускать официальное дознание, — твердо сказал Каренин.

— Разумеется.

— Но тогда нам сначала понадобятся показания самой пострадавшей стороны. Если мы снимем их первыми, то хотя бы узнаем правду!

— Что ж ... — полковник задумался. — Пожалуй, вам лучше самому туда отправиться, раз вы знаете местных. Заскочите по пути в штаб корпуса и потребуйте ареста, если понадобится. Но главное — попробуйте решить вопрос деньгами. Старик требует тысячу крон. Посмотрите, на какой сумме он согласится сойтись.

\*\*\*

Выйдя из штаба дивизии, Каренин повернул направо, направляясь к своей квартире. Однако из-за угла здания шагнул жандарм и отдал честь.

— Туда сейчас прилетело, ваше благородие! Немецкий аэроплан кружит!

Эти слова отозвались в животе Каренина знакомым, неприятным холодком. Аэропланы со сбрасыванием ручных бомб — будни этой Войны. Степан Дмитриевич закинул голову и зажмурился от яркого весеннего солнца: высоко в чистом синем небе, монотонно и противно стрекоча мотором, лениво разворачивался чужой силуэт с загнутыми назад крыльями. Но будучи чрезвычайно педантичным офицером военного времени и относясь к своей зыбкой штабной должности со всей серьезностью, Каренин быстро взял себя в руки.

— Ну, если бы этот летун мог в меня попасть, то попал бы ещё в начале войны! — бросил он на ходу, вызвав у жандарма понимающую улыбку.

Поручик говорил такие вещи сознательно: он считал, что это поддерживает боевой дух нижних чинов. И действительно, не успел он пройти и пары десятков саженей, как с неба со свистом сорвалась очередная кустарная граната и последовал привычный глухой удар и грохот. Разорвалось далеко впереди, у пакгаузов, так что он спокойно продолжил путь.

Чуть дальше, у поворота к переулку, где он квартировал над лавкой местного колбасника, люди уже высыпали из домов и лавок поглазеть на улицу. Одна пожилая галичанка, чья фигура была круглее, чем рискнул бы изобразить любой художник, робко спросила его на забавной смеси польского и русского, которой местные успели нахвататься за месяцы постоя:

— О, пане поручику, бомбарда уже кончилась?

Но эпицентр суматохи находился дальше, там, где короткая улочка обрывалась, переходя в узкие, аккуратно возделанные клочки полей. Граната угодил прямо в передок легкой повозки — из тех, что в любое время дня и ночи колесили по глухим прифронтовым дорогам. Двое

оглушенных ездовых кое-как сумели перерезать постромки и утихомирить уцелевших лошадей. Одна кобыла лежала мертвой прямо в придорожной канаве.

Чуть поодаль, привалившись к насыпи, сидел солдат. Его лица не было видно, плечи содрогались, словно от беззвучного раската хохота. Однако хватало и мимолетного взгляда, чтобы понять: головы на этих плечах больше не было.

Это была одна из тех будничных, омерзительных сцен, которые всю сознательную жизнь казались бы Каренину дикостью, но за последние месяцы стали до тошноты привычными. Без лишней суеты Степан Дмитриевич взял командование на себя. Он прекрасно знал, что растерянные солдаты так и будут стоять, тупо глядя друг на друга. Одного ездового он отправил за похоронной командой в ближайший передовой отряд Красного Креста, а второму велел привязать лошадей и собрать личные вещи убитого — расчетную книжку, складной нож, медяки, письма. Весь этот жалкий узелок, умещавшийся в носовом платке, — всё, что останется близким от солдата.

Сам же Каренин поспешил в канцелярию ближайшей воинской части, над крышей которой виднелись телефонные провода. Идти пришлось недолго: палатки и землянки лагерей тянулись по обеим сторонам этой галицкой дороги так же плотно, как дома на городской улице.

Вскоре он уже сидел в казарме у полевого телефона. Ожидая, пока барышня соединит его с обозом полка, к которому был приписан убитый, Степан Дмитриевич на секунду закрыл глаза. Эффект оказался настолько жутким, что он тут же распахнул их обратно. Там, на внутренней стороне век, четко отпечаталось то самое обезглавленное тело, которое он только что оставил у дороги. Странно, но оно больше не сидело у насыпи, а словно плыло прямо на него, отчаянно и немо размахивая руками над плечами. Стоило открыть глаза, как видение, разумеется, исчезло.

\*\*\*

Вокруг него не было ничего примечательного: обычное нутро служебного помещения, казенный стол, казенный стул. В углу ютились чья-то складная кровать и походная умывальная лохань. А за порогом — растоптанная грязь, коновязи, засыпанные золой тропинки, галицкие вязы и плоский, унылый пейзаж, оскверненный и изуродованный Войной.

Он дождался нужного ответа, велел полку забрать свою разбитую повозку, назвал свой чин и должность, после чего повесил трубку. Однако жуткое впечатление было настолько сильным, что, шагая обратно по дороге, он снова закрыл глаза. Да, оно всё еще было там, совершенно отчетливо. Все детали защитной формы прорисованы верно и резко: сапоги, патронташ через плечо, но вместо головы — пустота, и поднятые вверх руки, которые то ли зывали, то ли угрожали.

Если так пойдет и дальше, придется идти к полковому врачу. Тот живо упечет его в тыловой госпиталь. Он явно переутомился: ночами мотался на передовую ради «особых поручений», а днем без продыху пахал в канцелярии. Надо бы сбавить обороты.

Когда он вернулся к штабу, автомобиль уже стоял наготове. Чувства человека, которого вытащили из пехоты, а теперь снова отправляли в прифронтовую полосу, были странными и смешанными. Конечно, никому не хотелось попасть под обстрел или бомбежку, никому не хотелось жить там, где нет элементарных удобств. И всё же... и всё же было в этом какое-то странное чувство возвращения домой.

Этот огромный, шумный, растянувшийся на версты вглубь и на сотни верст в длину город из досок и палаток стал местом, которому он принадлежал. Эта атмосфера из незамысловатых шуток и столь же очевидной смерти, карболки, махорки, лошадей и дровяного дыма стала его жизнью, его законной и естественной средой обитания.

Его спутником в этой безрадостной поездке был князь Оболенский — заведующий конвойной командой дивизии. Бывший кавалерийский офицер регулярной армии, по своему виду и складу ума он казался более мрачным и суровым изданием полковника Березина.

Пока автомобиль катил по дороге, Каренин протянул ему дело Дорошевича. Оболенский скинул папку взглядом, полным той тоскливой усталости, с какой профессионал смотрит на «шедевр», который ему пытается показать дилетант.

— Полковник Березин думает, что это насилие, так?

— Так точно!

— Он ошибается, само собой. Квартирмейстеры всегда ошибаются! А вы сами как думаете, что это?

— Скверная ловушка. Что там стряслось на самом деле — неважно. Мы бы с вами замяли это дело рублей за сорок. Но до него добрались гражданские власти. Оно стало официальным.

— И что вы предлагаете? — князь Оболенский вставил в глаз монокль.

— Нужно поехать к гминному старосте и заставить его отозвать прошение. Так, поглядим. Городок? Нам нужен волостной писарь Блажевич. Третий калач и полностью на нашей стороне. Эти бывшие учителя терпеть не могут крестьян.

Каренин хорошо знал этот район. Городок был типичным местечком австрийской Галиции. То есть кучкой хат и домиков, где ютились местные обыватели и крестьяне, ухитрившиеся скопить малую толику грошей на окрестных полях и жившие теперь на какие-то четыреста крон в год. В самом центре мощенная брусчаткой круглая площадь вмещала несколько скромных лавок, огромный костел с высокой колокольней, заботливо подновленный красным кирпичом, и большую, неуклюжую «Корчму у управы» прямо по соседству с сельской школой.

Именно здесь они и застали Блажевича — волостного писаря, учителя, землемера, стряпчего для бедняков и бог знает каких еще должностей совместителя. Он был единственным человеком в округе, кто бегло владел пером и бумагой, и этот неоспоримый факт, должно быть, существенно пополнял его кошелек. Но, как и все люди его склада, он никак не мог забыть, что-сам-то родом из приличного Львова или Кракова; порой одиночество брало верх над его гордостью, и он горько сетовал на эту «проклятую деревенщину».

Они застали его в маленькой парадной комнате — в официальном кабинете он принимал только по торжественным случаям. Писарь был поглощен заполнением бесчисленных бланков, по которым распределялся хлеб, призывались новобранцы, удерживались цены и кое-как крутились шестеренки гражданского управления. В углу, между окном и напольными часами, сидел старый крестьянин, который лишь глухо буркнул: «Джень добры».

Блажевич приветствовал их с преувеличенным радушием, словно желая показать: *«Мыто с вами — люди приличные, светские»*. Он вежливо осведомился о здоровье господ офицеров, о погоде и делах на фронте, после чего перешел к представлению:

— Позвольте отрекомендовать вам господина нашего старосту! Ну-с, и чем я могу быть вам полезен?

Князь Оболенский, немного растерявшийся в этой мешанине из беглого польского и ломаного русского, предоставил слово Каренину.

— Мы по поводу прошения Дорошевича! Можно ли как-то уладить это дело миром?

Блажевич успел лишь вставить: «Всё на свете можно уладить», как староста резко перебил его.

— Хорошенькие у вас мыслишки, господа офицеры. Уладить, как бы не так! Будете вы это улаживать с нашим депутатом.

Пан Блажевич поспешил вставить:

— Господин староста был лично оскорблен вашими нижними чинами. Мы уже отписали нашему депутату!

Князь Оболенский нетерпеливо заерзал на стуле. Ему было невыносимо тяжело проходить через подобные сцены день за днем, год за годом. В свое время его учили командовать азиатскими инородцами в Туркестане, поэтому он резко обернулся к Блажевичу:

— Почему вы сначала не обратились ко мне?

Но староста снова перебил его. Его общий взгляд на жизнь мало чем отличался от мировоззрения обычного русского крепостного мужика, но был густо замешан на спеси местечкового чинуши. Эта самая спесь сейчас была уязвлена, и человек, который в обычные дни едва ли произносил десяток фраз, теперь говорил без умолку. Причем русского языка он понимал куда больше, чем ему приписывали.

— А зачем мне писать вам, пане офицеру? Вы же все одного цвета! — на этой фразе старосту не остановил бы и натиск германских полков. — Мой гминный стражник прибегает и докладывает: на фольварке у Дорошевича учинено насилие. От меня требуют явиться и составить протокол осмотра. Я надеваю официальную цепь магистрата. Беру казенную тетрадь. Прибываю на место. Требую командира. — Он заявляет, что у него приказ выступать в окопы! А его солдаты поднимают меня на смех. Орут похабные частушки про мою судейскую должность...

— Хорошо-хорошо, господин староста, — вмешался Каренин. — Мы как раз прибыли, чтобы произвести арест. Вы можете указать на виновного?

— Ну еще бы! Конечно, могу указать — выкрикнул старик.

Каренин затаил дыхание, ожидая услышать роковое имя или номер роты, которые потащат какого-нибудь бедолагу через всю изнурительную волокиту военно-полевого суда.

— Это был такой невысокий, чумазый солдатик!

— Это мало чем нам поможет, — ледяным тоном отозвался Каренин.

— Пойдите! — старик повысил голос. — Яцек!

Дверь отворилась, и Яцек Квасница, местный гминный стражник, состоявший при старосте, переступил порог и притворил за собой дверь. В своем темно-зеленом мундире с пожелтевшими петлицами и с напускным выражением невероятной важности он походил на комичного солдатика из оперетты.

— Предъяви вещественное доказательство!

Яцек извлек из заднего кармана, пожалуй, самый старый и потрепанный кожаный кисет. Из кисета он бережно достал кусок грубой рогожи от казенного мешка Главного интендантского управления, на котором черной краской было четко выведено: ОВЕСЪ.

— Вот вам! — победоносно объявил староста.

— Абсолютно бесполезная тряпка! — рявкнул Оболенский, начиная багроветь от злости.

Это привело старосту в ярость. Он уловил интонацию и выражение лица, если не сами слова.

— Ну и ну! Господа офицеры! Человек предъявляет вам неопровержимые вещественные доказательства, а вы воротите нос!

Вслед за этим хлынул целый поток упреков, под который Каренин поспешил увлечь князя Оболенского к выходу, рассыпаясь в бесконечных «до свидания!». Степану Дмитриевичу показалось, что пан Блажевич подавал ему тайные знаки, явно желая сообщить что-то с глазу на глаз.

Но князь Оболенский был глубоко задет, его офицерское достоинство уязвили. Профессиональный военный, он превратил урегулирование тыловых претензий в настоящее искусство. Ходили слухи, что он успел закрыть тысячу подобных дел с того самого момента, как его назначили начальником конвойной команды еще во время боев на Перемышле.

Он резко приказал шоферу ехать на фольварк к Дорошевичу. Водитель, похоже, отлично знал дорогу и, вероятно, бывал там уже не раз. Пока автомобиль трясло и подбрасывало на щербатой брусчатке при въезде во двор, Каренин негромко произнес:

— Я сразу попрошу позвать дочь, панну Марысю.

— Вот именно.

— Я решительно не верю...

— Я тоже, — твердо отрезал князь.

Ни один из них не решился произнести вслух слово «насилие».

\*\*\*

Они вышли из машины, постучали в дубовую дверь, затем постучали снова. Вокруг царил не столько пустота и запустение, сколько один из тех всепоглощающих гулов, природу которых можно понять, лишь хорошенько прислушавшись. Звук был слишком низким для сепаратора и слишком близким для аэроплана. Каренин быстро определил:

— Да у них паровая молотилка на заднем выгоне работает, прямо у ржаного поля! — у него была цепкая память, и он прекрасно помнил, как местные распределяли работу и посевы.

Они снова перешли мостик над рвом и, обогнув усадьбу, вышли к дальнему пастбищу. Там, у самых ворот, открывавших вид на пахотные просторы, действительно стояла молотилка, сутились багрячки, а на самом вершуре скирды высился старый Дорошевич.

Каренин закричал, но Дорошевич не обратил на него ни малейшего внимания. Возможно, он просто оглох, да и молотилка гудела на всю округу. Но главное — он принадлежал к той породе старых крестьян, чьим единственным ответом на эту небывалую Войну, в которую всех швырнула судьба, был еще более упорный, непрерывный труд. Они словно пытались вовсе не замечать того, что творится вокруг.

Старик стоял, отчетливо вырисовываясь темным силуэтом на фоне робкой, нежной синевы галицийского неба. Движения его тела были механическими, а лицо, зажатое между воротом рубахи без воротника и суконной шапкой с высоким околышем, не выражало ровным счетом ничего. В конце концов Каренин подошел к одной из коренастых девок, отгребавших солому от бегущей ленты, и бесцеремонно потрянул её за руку.

Она, конечно же, была беженкой из оккупированных немцами западных польских губерний. Никто другой не стал бы так вкалывать. Как заведенная кукла, она тут же затараторила на ломаном русском:

— Нет места, пане офицеру, постой весь полный, идите в управу! — и при этом ни на секунду не переставала орудовать граблями.

Каренин крепко перехватил её за предплечье и остановил:

— *Powiedz panu, niech zejdzie tutaj!* (Скажи хозяину, пусть спустится сюда!)

Это наконец дошло до её сознания. Бросив свои грабли, девка прижала ладони ко рту и принялась истошно кричать: «Эй, пане!» старому Дорошевичу. Она могла бы голосить так до бесконечности, если бы Каренин не подошел к — механику, который управлял молотилкой, — и не протянул ему папиросу. Такое подношение остановило бы даже вражеское наступление. Молотилка тут же затихла, и Дорошевич уставился сверху на незваных гостей.

— День добрый, хозяин! — окликнул его Каренин. — Можем мы увидеть панну Марысю?

Старик спустился на удивление проворно.

— День добрый, господин офицер. Что там такое стряслось?

Каренин протянул ему бланк прощения. При виде этой бумаги на лице Дорошевича появилось выражение, с каким конь косится на свой овес. Это скорее был долгий, злобный подсчет чего-то неизведанного. На самом же деле из всего текста он мог разобрать разве что собственную размашистую подпись. Он лишь буркнул пару раз под нос: «Моя рекламация», но дальше не продвинулся.

— Можем мы увидеть панну Марысю? — повторил Каренин.

Старик уставился на него с тем искренним недоумением, с каким деревенский житель смотрит на чужака, не знающего местных новостей:

— Так ведь, господин офицер, уехала моя барышня!

В этот самый момент механик в засаленной блузе, который уже раскурил папиросу и теперь думал лишь о том, как бы поскорее покончить с работой, рванул рычаг и снова запустил молотилку. Будто по сигналу чародея, старый Дорошевич одним махом взлетел обратно на скирду. Беженцы дружно вернулись к своим обязанностям. Полетела пыль, зажужжали колеса, зерно с сухим стуком посыпалось в бункер, а солома длинными косами ложилась под грабли.

Каренин и князь Оболенский остались стоять — неприкаянные, всеми позабытые со своей Войной, в то время как настоящее, вековое дело хутора упрямо шло своим чередом. И даже чуть быстрее, ведь завтра молотилку ждали уже в Золочеве.

Они поплелись обратно к автомобилю в самом скверном расположении духа. Ни один не проронил ни слова — сказывалась привычка помалкивать о повсеместной, неистребимой нелепости бытия. Однако исчезновение панны Марыси с фольварка сразу после столь двусмысленно составленного прошения выглядело поистине зловещим знаком.

Путешествие на автомобиле имеет массу недостатков, но против них есть одно преимущество: уставшим и в край измотанным людям оно дарит самое быстрое и полное физическое ощущение побега. Какая магия кроется в этом слове! Запрыгнуть в машину и мчаться куда глаза глядят, оставив позади хотя бы одну неразбериху, — именно эта иллюзия окутала их, пока шофер крутил ручку стартера.

Но не успели они доехать даже до ворот выгона, осторожно покачиваясь на ухабах при выезде, как автомобиль резко затормозил. Рядом с ними, скользнув в придорожную грязь, лихо затормозил мотоциклист-самокатчик. Он отдал честь начальнику конвойной команды и протянул один из тех бесчисленных листков бумаги с донесениями, что летали по тылам повсюду, куда не дотягивались провода полевых телефонов. Каренина вестовой мог и не знать, но фигуру князя ни с кем нельзя было спутать. Вручив хлипкий конверт, этот окопный Гермес перекинул ногу через седло своего дребезжащего стального скакуна и был таков — умчался по переулку в сторону мощеного тракта и скрылся из виду прежде, чем князь Оболенский успел бросить вдогонку: «Ответа не будет».

Князь Оболенский сидел, нахмурившись, и разглядывал бланк армейского донесения. Шофер тоже хмурился: одна его рука лежала на руле, а нога легкими непрерывными толчками поджимала педаль газа, удерживая мотор на ходу; лицо его было повернуто назад в ожидании приказа трогаться. Он сидел абсолютно неподвижно и бесстрастно, глядя прямо перед собой, пока солнечные лучи поблескивали на крошечных светлых волосках его аккуратно подстриженных усов.

Самокатчик уехал, шофер рвался вперед и через мгновение тихо переключил передачу на первую, позволяя машине плавно набирать ход. Военному человеку же хотеть чего-то было не положено. Ему оставалось просто сидеть смиренно, и его утро пройдет точно так же, как и все остальные, — в пассивной охране закона и порядка в тылах Русской императорской армии в Галиции.

Машина уже шла быстрее, когда князь Оболенский наконец заговорил. У Каренина от этой череды мелких событий возникло самое странное ощущение. Впервые ему показалось, что инициатива исходит вовсе не от начальника конвойной команды. Это простые солдаты — ждущие, приходящие и уходящие — заставляли его отдавать приказы. Впечатление длилось лишь миг, но оно встревожило Степана Дмитриевича. *«Определенно, я нездоров, раз мне в голову лезут такие мысли»*, — подумал он. Впрочем, времени на размышления больше не осталось, поскольку князь уже протягивал ему телеграмму. Каренин прочитал:

*«Штаб корпуса требует подписанное заявление об отзыве прошения».*

Иллюзия побега растаяла. Неразбериха осталась не позади, она ждала их впереди.

— Бесплезно говорить, что девки там нет, — мрачно заметил Оболенский. — Придется нам состряпать что-нибудь на коленке. — Он явно ждал, что Каренин предложит выход.

— Я думаю, ваше высокоблагородие, нам стоит вернуться к пану Блажевичу и выяснить, куда уехала барышня. Староста-то к этому времени наверняка уже ушел.

— И слава богу. Назад в управу Городка!

Автомобиль мгновенно перешел со второй передачи на высшую и помчался обратно.

Машина затормозила на круглой площади местечка. Услышав приказ ждать, шофер послушно сложил руки на руле. Князь Оболенский и Каренин вошли в управу. Там, как Степан

Дмитриевич и предвидел, было пусто. Староста и его писарь не принадлежали к числу людей, у которых было лишнее время, и оба уже разошлись по своим делам: староста — на свой хутор, а писарь — в школу. За забором были отчетливо слышны голоса учеников, которые хором зазубривали какой-то урок, напоминая гигантский граммофон с бесконечным заводом пружины. Наступал тот самый час, когда вся Галиция садится за свой плотный полуденный обед.

Снаружи круглая площадь была совершенно пуста, если не считать солнца. Оно растранивало свое бледное, тепловатое золото на щербатую брусчатку и крашенные в цвет галет двухэтажные фасады добротных домов с зелеными ставнями, крутыми крышами и высокими трубами, за которыми высились верхушки старых галицких вязов. Долгое время ничто не нарушало этот покой, разве что порыв ветра гонял сухую соломинку по камням. Князь Оболенский нетерпеливо заерзал. Тишину нарушал лишь гул школьных классов за стеной, свист ветра в переулке да едва заметное дрожание оконных стекол — отзвук далекой, неслышной отсюда канонады фронта.

— И не скажешь, что всего в тридцати верстах отсюда идет война, а?

— В двадцати верстах, ваше высокоблагородие!

— Да неужели? Мы что, Каренин, собираемся торчать тут весь день?

— Никак нет, господин полковник, всего минутку. Хозяева должны быть где-то поблизости, но дверь заперта. Сам я в класс соваться не хочу — пану Блажевичу это вряд ли понравится, а нам выгодно оставаться с ним в ладах.

— С чего бы это ему не понравилось? Перетерпит.

Князь скривился и принялся лениво читать вывески над маленькими лавками на площади.

— «Wędliny» — это что такое?

— Колбасная лавка, ваше высокоблагородие. По-нашему — мясная лавка.

— «Żelazny sklep».

— Скобяные товары, железный ряд.

— А это еще кто тащится через площадь?

— Беженка, ваше высокоблагородие.

У Каренина не было в этом сомнений. Грузная, сутулая фигура, отрешенный, приоткрытый рот, узел с пожитками под мышкой, неуклюжие стоптанные сапоги и одежда, которая, казалось, держалась на поясе лишь благодаря какой-то бечевке. Вся её горькая доля была написана на ней: сорвалась с насиженного места при приближении наступающих австро-германских войск, брела по дорогам посреди обезумевшего, снявшегося с мест народа, в одночасье потеряла дом, родных и привычный уклад. Теперь она была рада любому крову, похлебке и любой черной работе, какую только дадут.

— Нам что, с такими персонами придется дознание вести? — поморщился князь.

— О нет, ваше высокоблагородие. Панна Марыся совсем другого склада.

Женщина проявила вялое любопытство при виде автомобиля и даже обменялась парой фраз на ломаном русском с шофером. Сквозь открытую дверь донеслось шутовское приглашение «покататься» и её улыбчивый, польщенный отказ: «Нема времени, пан солдат!». Наконец она вошла в корчму и остановилась перед офицерами.

— День добрый, господа офицеры, чего изволите?

— Будьте любезны, передайте волостному писарю, что его ждут.

— Постой нужен? — спросила она на смеси языков. — Местов нет, квартировать нема!

— Нет! — Каренин всегда уязвленно досадовал, когда его польский язык игнорировали или не понимали. — Нам нужен пан Блажевич!

— Хорошо. — Она вышла и через минуту вернулась вместе с ним.

— Пан Блажевич, мы только что были на фольварке и виделись с Дорошевичем. Он страшно занят, и нам не удалось толком с ним поговорить. Но мы поняли так, что его дочь уехала из дома. Вы знаете, её адрес?

На лице писаря отразилось крайнее изумление. Он указал рукой через площадь:

— Так вон же она, там. Она взяла под себя постоялый двор «Ягеллонский лев». Кормит обедами господ офицеров!

Когда это перевели князю Оболенскому, тот не на шутку разозлился:

— И почему этот старый осел Дорошевич не мог сказать об этом сразу?

Блажевич прекрасно понял не только слова, но и само чувство.

— Ах, ваше высокоблагородие, в этом-то и есть весь здешний люд. Я прожил среди них всю свою жизнь. Сам я не из этих мест, я из приличного Тарнова, но знаю их как свои пять пальцев. Они все такие. Если они молотят или сеют, они не станут отвлекаться ни на что другое — даже если это их собственное кровное дело. К нам с вами они относятся как к погоде: её нужно либо переждать, либо использовать с выгодой для себя...

Но князь Оболенский уже решительно шагнул. Каренин задержался ровно на столько, чтобы успеть сказать:

— Премного вам благодарны, пан Блажевич, мы займемся этим делом.

Степана Дмитриевича с детства учили вести себя как благовоспитанного молодого человека. Он твердо знал, что вежливость ничего не стоит, а помощь волостного писаря может понадобиться ему еще не раз.

На площади шофер возился под капотом машины. В несколько широких шагов Каренин догнал князя.

— Эта панна, должно быть, отлично изъясняется по-русски, ваше высокоблагородие. Полагаю, вы сами пожелаете провести дознание?

— Очень на это надеюсь, если мы наконец-то отыскали нужного человека. Мы и так впустую убили почти всё утро.

Каренин мысленно вздохнул с облегчением. Его разум, всегда имевший привычку забежать немного вперед, уже во всех красках рисовал тот неловкий момент, когда кому-то придется напрямую спросить эту женщину: *«Это вы стали жертвой сего ужасающего преступления?»*. Ему страшно не хотелось задавать такие вопросы, и он чувствовал, что подобные расспросы — сугубо служебная обязанность князя.

Оба офицера переступили порог трактира «Ягеллонский лев». Весь первый этаж представлял собой длинную, приземистую залу с окнами на круглую площадь; пространство внутри полностью расчистили и заставили аккуратными маленькими столиками. Возле конторки, из-за которой хозяйка лично надзирала за всем делом, двое офицеров из соседнего поста пили вермут. В воздухе густо пахло готовящимся обедом, и лишь потому, что Каренин с князем Оболенским продолжали нерешительно стоять у порога, на них обратили внимание.

Наконец дюжая баба средних лет в кухонном фартуке спросила, чем может помочь господам офицерам. Чувствуя, что разговор принимает всё более щекотливый оборот, Каренин для приличия заказал два вермута, а затем осведомился, нельзя ли переговорить с панной Дорошевич по одному важному делу. Напитки подали, а вслед за ними вышла и та, кого они искали.

Едва она приблизилась и спросила, что господам угодно, как Каренин мысленно взмолился, чтобы этой встречи вовсе не бывало. Он еще острее осознал, насколько невыносимо трудно будет спросить у такой девицы: *«Это вы стали жертвой того гнусного бесчинства?»*.

Однако она стояла прямо перед ними — весьма миловидная, невозмутимая, разве что самую малость нетерпеливая; по её виду было ясно: она желает немедленно узнать, ради чего её отвлекли от дел в разгар хлопотливого утра. С одной стороны, это успокаивало — такое поведение никак не вязалось с ужасающим содержанием доноса. С другой стороны, положение становилось двусмысленным: нужно было продолжать и как-то объясняться. Степан Дмитриевич

вич вытащил печатный бланк прошения; начальник конвойной команды, вопреки всем былым намерениям, безмолвно предоставил ведение дела ему.

— Мы по поводу этого прошения вашего батюшки.

Она взяла бумагу, бегло осмотрела её и вернула обратно.

— А, это, — лаконично бросила она, ничуть не стремясь облегчить ему задачу.

— Вы, разумеется, в курсе всей этой истории?

— Да, я всё прекрасно помню.

Князь Оболенский слушал очень внимательно, явно впечатленный её бойкой, безупречной русской речью и еще более — самой её статной фигурой. Каренин же в этот момент был слишком занят собственным замешательством.

— Но здесь ведь кроется какая-то ошибка, не так ли?

— Нет, никакой ошибки тут нет.

— Господин полковник как раз прибыл, чтобы осмотреть... кхм... нанесенный ущерб.

— Я с удовольствием провожу вас на фольварк, но только после обеда.

— Великолепная мысль! — неожиданно вмешался князь. — Мы сперва отобедаем у вас, а уже опосля поедем осматривать разрушения.

— Прекрасно. Присаживайтесь за столик, ваше высокоблагородие, — ответила она и тотчас скрылась на кухне.

— Вот видишь, всё совсем не так, как ты думал, — удовлетворенно хмыкнул князь Оболенский, махом осушив свой стакан.

От этих слов Каренин уже в двадцатый раз за день почувствовал, насколько же эта Война вопиюще несправедлива.

Обед тянулся долго. Это был скорее плотный, традиционный галицкий полуденный обед, нежели изысканный ресторанный ланч. Князь уплетал всё подряд, шумно комментировал каждое блюдо и явно получал огромное удовольствие. Сначала подали закуски — фасоль в масле, домашнюю копченую колбасу и тертый хрен со свеклой.

— И где только она умудряется всё это доставать в такое время? — удивлялся князь.

Затем принесли суп — самый обыкновенный, но щедро сдобренный свежей петрушкой, сухариками, обжаренными в сале, и едва уловимой ноткой чеснока. «Объедение!» — вынес вердикт Оболенский. Следом подали нежную телятину, но князь посетовал: «Жаль, рыбы нет!». В ту же секунду над ними выросла панна Марыся.

— Прошу прощения, господа офицеры, военное ведомство совсем не пускает обозы с рыбой со стороны Днестра!

Потом был запеченный цыпленок, мелкое сухое печенье и кофе, который цедился через жестяное ситечко прямо в граненые стаканы. Каренин, робевший в подобных делах и не знавший тонкостей светского этикета, начал лихорадочно соображать, прилично ли ему будет предложить оплатить счет.

За годы службы он твердо усвоил лишь одно негласное армейское правило: *«Если можешь, всегда угощай начальство!»*.

Однако во время трапезы его занимали совсем другие думы. У него не было и той профессиональной, выдрессированной толстокожести, которой обладали кадровые военные. Он слишком хорошо знал, чем закончится этот их поход. Какого-нибудь несчастного мужика, который пошел добровольцем на эту проклятую войну защищать Отечество, вытащат из грязной прифронтной землянки, где он пытался хоть немного перевести дух, а то и вовсе из лазарета. Его арестуют, запугают до немоты, а потом отдадут под трибунал господам офицерам, для которых он — лишь безликий «нижний чин». Солдатику влепят штрафную роту, а здесь, в тылу, начальник конвойной команды преспокойно ест и пьет с величайшим аппетитом. Впрочем, для ведения войны именно такое состояние ума и было самым идеальным.

Князь Оболенский подозвал панну Марысю:

— Счѣт, будьте любезны, сударыня, — а получив его, хмыкнул: — Разорительно, чѣрт возьми! Неужто мы столько выпили? Впрочем, для такого стола мне не жалко.

Значит, князь платил сам. Зала трактира постепенно пустела. Расквартированных войск в самом местечке не было, и большинству обедавших здесь офицеров (которые бросали на начальника конвойной команды робкие заискивающие взгляды) предстоял еще долгий путь верхом до своих полков.

Панна Марыся объявила, что готова ехать и показать разрушения. Она была без шляпки, но одета в добротное, ладное платье. Выручку за день она крепко прижимала к груди в пузатом кожаном ридикюле, далеко не новом. Князь Оболенский оказал ей редкую честь — уступил место в автомобиле.

Они покатали обратно по той же самой дороге, которой офицеры прибыли утром. И снова Каренина уязвило знакомое скверное предчувствие. Что-то во всѣм этом было неправильно. Три раза тащиться по одному и тому же тракту, и никакого толку! Едва машина свернула на просѣлок, панна Марыся подняла руку:

— Остановите здесь, прошу вас!

Они вышли у самого угла большого выгона перед усадьбой. Здесь тянулась обыкновенная живая изгородь, которая на этом изгибе переходила в крошечную рощицу из десятка молодых тополей. Марыся быстро отыскала пролом в кустах и повела их за собой, бросив на ходу:

— Это солдаты прорубили, чтобы путь срезать.

Они очутились на пастбище Дорошевича, точно таком же, какие сотнями раскинулись по всей прифронтовой полосе на сотни верст вокруг. В этот миг солдат здесь не было, но поле хранило следы непрекращающегося постоя. Трава была вытоптана длинными, ровными полосами. Вбитые колья, обрывки проволоки и высокая куча навоза четко обозначали места коновязей. Ближе к дому то и дело ставились палатки — земля до сих пор была испещрена полузасыпанными ямками от кольев. По углам поля чернели отхожие места, а в одном углу земля была напроць выжжена и закопчена полевыми кухнями.

*«Постой для нижних чинов! — угрюмо подумал Каренин, для которого мысль о ночлеге под открытым небом никогда не переставала казаться дурной шуткой. — Конюшни для лошадей, скотные дворы для людей».*

Было очевидно, что маховик Войны прокрутился здесь во всю мощь. Каренин (человек, начисто лишенный романтического воображения) почти наяву видел перед собой серые фигуры, упрямых лошадей и примитивные обозные телеги, которые вереницей втягивались на это поле, задерживались на самую малость и уходили дальше — навстречу гибели.

Но панна Марыся была занята делом. Она обогнула рощицу и вывела их к придорожной каплице, которую когда-то давно построило прежнее набожное поколение рода Дорошевичей. Это была небольшая каменная каплица — футов восемь в высоту и шесть в ширину, её застекленная ниша смотрела прямо на главный тракт.

Вот только всё стекло внутри было выбито, престол выворочен, а крошечные восковые и гипсовые фигурки святых, искусственные цветы, вазочки и прочие копеечные предметы церковной утвари бесследно исчезли. Для любого Дорошевича эти вещи были священны, и почитал он их тем сильнее, чем дороже они стояли в лавке духовных товаров при епархии. Теперь зияющий проем каплицы был грубо замотан колючей проволокой.

— Вот, извольте видеть — произнесла панна Марыся. И добавила, словно желая сразу исключить любые сомнения в правах собственности: — Вы сами видите, что она принадлежит нашей семье. Вот здесь выбито наше имя!

И действительно, на уцелевшем куске плоской штукатурки красовалась полустёртая надпись на польском и латыни: *«Najświętsza Mario — módl się za nami — fundator Benedykt Дорошевич — и жена его Марта — Июнь 187...»*

Князь Оболенский раскурил сигару и неторопливо осмотрел руины. Обед пошёл ему на пользу, он пребывал в отменном расположении духа и теперь мог позволить себе отстранённый, почти неофициальный тон.

— Ага, так это и была та самая Дева, верно?

— Нет. Здесь стояла сама фигура Пречистой Девы. Статуя разбита вдребезги, как я и писала в прошении, а осколки мы уже прибрали.

— Чудесно. Стало быть, насколько я понимаю, вы требуете тысячу крон за повреждение каменной кладки и... кхм... алтарной утвари, которая была... э-э... уничтожена. Но послушайте, милочка, это же форменный грабёж! Сумма явно завышена.

— Возможно, ваше высокоблагородие просто не слишком хорошо ос-ве-дом-ле-ны о нынешних ценах на строительные материалы!

*(«Надо же, — подумал Каренин, — она удивительно бойко и правильно изъясняется по-русски, но на этом сугубо канцелярском слове её язык всё-таки загнулся»).*

— Ну отчего же, — добродушно хмыкнул князь. — Я ведь и сам своего рода землевладелец, знаете ли. У меня под Тверью знатное имение, я там породистых коней развожу.

Голос Марыси заметно сорвался на высокие и резкие ноты:

— Рада за вас, господин полковник. Но если вы богаты, это ещё не повод отказывать в правосудии нам, бедным людям. Я вообще сомневаюсь, что мне удастся восстановить этот престол. А ведь есть ещё вопрос о противоправном посягательстве...

— О чём-о чём?

— О юридическом возмещении за святотатственный взлом и нарушение границ владения, ваше высокоблагородие, — поспешно вмешался Каренин, испуганный тем, что панна от избытка чувств начала переходить на юридические термины. Он видел, что девушка начинает не на шутку сердиться, и в эту минуту искренне желал, чтобы князь Оболенский, этот сытный обед, прошение, фольварк и вся эта благословенная военная кутерьма провалились к чёрту.

— А-а, вот оно что. Понимаю, — протянул князь.

— К тому же есть ещё понятие — моральное удовлетворение! — вскинулась Марыся. — Что бы вы сказали, ваше высокоблагородие, если бы наши солдаты явились к вам в усадьбу и осквернили гробницу вашей матушки?!

— Как-как? Ну, тут я ничего сказать не могу, право слово, — пробормотал князь Оболенский. — Я решительно не могу углубляться во все эти тонкости. Поручик Каренин, совершенно очевидно, что арестовывать здесь некого. Дело касается исключительно денежного возмещения. Предоставляю всё вам. А мне пора возвращаться. Панна, этот офицер выслушает всё, что вы имеете сказать, и полностью уладит с вами этот вопрос. Обед вы нам давеча дали знатный. Прощайте. Если будет желание перекинуться вечером в винт, Каренин, заглядывайте в наше офицерское собрание!

\*\*\*

Степан Дмитриевич достал свою походную записную книжку и продолжил дознание, изъясняясь частично по-русски, частично по-польски.

Они сидели в просторной, похожей на пещеру старой кухне, выложенной изразцами. Половину её занимала печь, обдававшая их одуряющим жаром, а вторую половину — массивный дубовый стол, выскобленный до того, что волокна древесины проступали на нём жёсткими рёбрами.

Панна Марыся мгновенно выкинула начальника конвойной команды из головы, заметив лишь, что это весьма «забавный тип», и переключила всё своё внимание на Каренина — так, словно он был нерадивым учеником из самого младшего класса, а она его наставницей.

— Когда именно это произошло?

— Да ещё в сентябре. Дождь тогда лил как из ведра, не иначе, от сырости он это и удумал!

— Вы сами видели, как это случилось?

— Разумеется. Я даже пыталась его остановить!

— И где же вы тогда находились?

— Да у того самого пролома в изгороди, где ж ещё. Не нанимать же мне всякий раз пастушка, чтобы скотина на дорогу не разбрелась.

— Ну и что же дальше?

— Что-что... Тут как раз потянулись войска. Страшно было на них смотреть!

— Какие именно это были части?

Она полистала грязную, засаленную записную книжку с загнутыми уголками.

— Девятая батарея.

— Стало быть, им тогда крепко досталось на передовой?

— Мы все это поняли, — продолжала она. — Их оставалось совсем мало, и часть походного снаряжения они растеряли. Под конец приковылял этот солдат со своими двумя лошадьми. Одна лошадь была больной, другая раненая. Большинство людей, едва привязав лошадей, повалились с ног и сразу уснули. Но этот всё ходил кругом. Уже почти стемнело, и начинался дождь. Я спросила его, чего он хочет.

— И что же он ответил?

— «Чёрт бы побрал вашего Папу Римского!»

Это чуждое ругательство прозвучало из её уст настолько дико, что Каренин удивленно взглянул ей в лицо. Оно оставалось абсолютно безучастным. Она просто зазубрила эти слова на случай, если они пригодятся для дела. Марыся продолжала:

— Ему не понравились святые лики на престоле! Тогда он начал колотить стекло и выламывать деревянные брусья. Тут сразу стало ясно, чего он добивался. Ему нужно было укрытие для его лошадей.

— Вы предупредили его, что он совершает преступление?

— Ну еще бы. Я даже вцепилась ему в руку.

— Это вы напрасно, панна. Вам следовало немедленно доложить его командиру.

— О, вы должны понимать, что его командир мертвецки спал прямо здесь, на кухонном полу. Вот именно что мертвецки. Он рухнул там же, где стоял, и даже не выпустил из рук кружку, из которой пил. Вот столько было налито, — она наглядно отмерила пальцами четыре вершка!

— Понимаю. Вы не смогли доложить начальнику отряда. И всё же, никогда не следует трогать солдата руками. Он мог причинить вам вред, а после, на следственной комиссии, против вас же обернули бы то, что вы первая полезли в драку.

— Ой, да бросьте вы, никто его не боялся. За это время мы навидались столько солдат, что и не сосчитать. А что до ваших комиссий, так у нас тут их уже четыре штуки заседало по разным поводам. И все они закончились ровным счетом ничем.

— Ладно, ладно. Вы попытались предотвратить порчу имущества, а поскольку доложить по начальству не удалось, вы в установленном порядке подали прошение о возмещении убытков. Но когда тот офицер проснулся, вы хотя бы поставили его в известность?

— Зачем это, раз мы сразу позвали гминного старосту составлять протокол осмотра!

— Да, я уже слышал об этом от самого старосты. Но, судя по всему, он его так и не составил, потому что никакого протокола среди присланных документов нет.

— Нет, старосте помешали солдаты.

На мгновение хмурая ухмылка нарушила расчетливое деловое безразличие на лице девушки, которая явно гнала прочь любые эмоции, понимая, что они лишь вредят выбиванию денег.

— Ох, да! Вышел такой конфуз!

— Не сочтете за труд рассказать, что именно произошло?

Она словно пожалела об этой мимолетной улыбке и мысленно пожурела себя за несдержанность.

— И всё равно это было постыдно. Наш староста ничем не лучше других, но он — наш староста. Власти предержавшие нужно уважать, не так ли, господин офицер?

— И в чем же проявилось неуважение со стороны нижних чинов?

— Они запели. Да так громко — прямо голова раскалывалась, — и орали во всю глотку всю дорогу до самого местечка!

— Ах, они снимались с позиций, верно?

— Это было жалко, уверяю вас, господин офицер, просто стыдно смотреть. Несчастные люди. Они же толком и не спали вовсе. Всего-то пару часов. А потом, прикатил этот ваш самокатчик-мотоциклист. Растолкали их, заставили строиться. Некоторые на ногах-то еле держались. Но в конце концов построились. И тут как раз является староста. Мы ведь за ним срочно послали, как увидели, что отряд уходит. Протокол осмотра ведь не составишь на того, кого уже и след простыл!

— Ну да, совершенно верно. Но почему же они запели?

— Ах, всё одно к одному совпало. Только офицер скомандовал «строиться», как прибегают староста. Мы-то ему передали, что тут форменное насилие произошло, и он отнесся к делу со всей строгостью. Он ведь старый уже, наш староста. Нацепил свою... *цепь магнестрата*.

— Это ещё что такое?

Она сделала выразительный жест руками вокруг шеи и груди:

— Ну, такая штука, на груди висит! Из тяжелого металла, парадный знак старосты!

— А-а, должностная цепь гминного старосты!

— Вот-вот, именно. И к тому же он водрузил свою шляпу!

— Это как же?

— Да как обычно. Только это была высокая такая шляпа, для парадных случаев, парадная треуголка — похожая на перевернутый горшок для варенья.

— Панна Марыся, так дело не пойдет, — вздохнул Каренин. — Я не могу закрыть этот вопрос здесь и сейчас. Мне необходимо передать все документы моему начальнику, а тот направит их в соответствующее ведомство. Там обязательно спросят: «Где протокол осмотра?». И что мне им ответить? Гминный староста отправился его составлять, водрузил шляпу, а солдаты из-за этого запели?» Это же звучит как анекдот.

— Ах, вам бы, господам офицерам, всё только хиханьки да хаханьки, — обиженно протянула она. — Но всё было ровно так, как я говорю. Они запели!

— Но вы же сами только что уверяли меня, что они едва на ногах стояли от усталости!

— И это чистая правда!

— Одно с другим никак не вяжется. И что же они запели?

— «Вильгельм прыгал и скакал, с головы венец упал!»

В ту же секунду Каренин окончательно всё понял. Эти слова в один миг дорисовали, вставили в рамку и повесили перед ним готовую картину. Ещё мгновение назад он втайне надеялся, что всё это дело развалится из-за полной неправдоподобности. Теперь же он видел на нём клеймо абсолютной, непреложной истины. Ей даже не нужно было добавлять: «Они не то чтобы веселились, понимаете, они были ...».

— Возбуждены!

— Вот-вот! Возбуждены, как это бывает, когда человек не спал, не ел, а тут вдруг стряслось такое... В общем, они были как в угаре. Они принялись орать старосте: «Австрияк!», «Мазепинец!», «Кайзеровский шпион!». Такими словами в прифронтовой полосе швыряться не пристало!

— Да, панна Марыся, не пристало.

Но на мгновение суровость сошла с её лица, и она заговорила совсем другим, отрешённым тоном:

— Это было даже как-то странно. Они пели это... — на церковный манер, будто молитву.

— Да-да, — покорно согласился Каренин.

Из глубин его мирного прошлого, когда он ещё помогал старосте в приходском храме, в памяти сами собой всплыли унылые зауспокойные напевы. А из глубин его недавнего опыта окопного офицера вырвался тяжёлый вздох: *«Эти обормоты ещё и не такое могут»*.

Каренин еще раз бегло пробежался глазами по своим записям, проверяя, не упустил ли он чего. Благодаря многолетней банковской привычке все ключевые факты уже были у него в руках. Но то, как вырисовывалось это дело, Степану Дмитриевичу решительно не нравилось.

Он слишком хорошо знал, как устроена армейская машина. Какой-нибудь живой человек (а не просто безликий номер в казенной ведомости на выдачу жалованья) совершает поступок вполне естественный и даже полезный. Поступок, который соверши он верстой-другой дальше, прямо в окопах, принес бы ему Георгиевский крест.

Вся эта история с выламыванием досок и штукатурки ради спасения раненых лошадей — случись она на передовой в экстренной обстановке ради обустройства пулеметного гнезда — заслужила бы только похвалу. Это и была та самая солдатская смекалка, которая так ценилась в военное время и которую было так трудно выбить из вчерашних мирных обывателей.

Но здесь, в тылу, на постое, действовал совсем другой свод правил, не менее строгий. В самой своей сути он напрочь подавлял любую инициативу, превращая солдата в безмолвного исполнителя. И благое, в сущности, дело грубо нарушало эти тыловые циркуляры. Само по себе это тоже не имело бы большого значения, если бы проступок случайно не столкнулся лбом с другими обстоятельствами — например, с уязвленным самолюбием гминного старосты. Этот старый индюк теперь из мухи раздует слона и устроит форменный ад, такова уж была исконная нелепость всех вещей на свете.

Завороженный следствием вопреки собственному здравому смыслу, который твердил ему: *«Чем меньше ты обо всем этом знаешь, тем лучше для тебя же»*, Каренин поймал себя на том, что задает новый вопрос:

— Панна Марыся, а как выглядел этот солдат?

Ответа не последовало. Степан Дмитриевич поднял глаза от блокнота. Оказалось, девушка уже бросила его и ушла на заднюю половину кухни заниматься какими-то своими делами. Она оставила его с таким видом, словно вся эта Война была каким-то его личным, страшно дорогим и нелепым занятием, на которое у нее больше не было времени отвлекаться. Услышав его голос, она вернулась, и он повторил вопрос. Её ответ он не забыл уже никогда.

— Как выглядел?... Да, как и все остальные!

— То есть в толпе вы бы его не узнали?

— Может, и узнала бы. Но это трудно. Ростом он примерно с вас, не особо толстый, глаза и волосы как у вас или у любого другого.

— Имени его или номера полка вы, само собой, не расслышали?

— Солдаты звали его «Косой». Наверное, прозвище такое, но они там каждого второго так кличут. А номер у него на вещи был сорок восемь. Я на его сидоре видела.

— На вещевом мешке?

— Ну да.

— Спасибо, панна Марыся. Вы сообщили мне всё, что нужно.

В глубине души он опасался, что она сообщила ему слишком много лишнего, но девушка уже с головой ушла в свои хлопоты. Он поднялся, чтобы уйти. Шагнув в полумрак сеней у задней кухни, Степан Дмитриевич резко замер на месте, словно пытаясь уклониться от прилетевшего снаряда. Ему почудилось, будто в темноте стоит та самая фигура без головы. Но это была всего лишь сорочка, которую панна Марыся небрежно накинула на веревку для сушки белья.

Он вышел на крыльцо. Провожать его она не стала — разумеется, была слишком занята. Ему пришлось пешком добираться до главного тракта, но там он без труда «проголо-совал» и запрыгнул на попутную казенную двуколку, которая довезла его обратно до штаба. На ступенях он столкнулся с князем Оболенским. Для начальника конвойной команды было непривычно поздно оставаться на службе.

— А, это вы, молодой человек? Добрались-таки?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

Каренину страшно хотелось съязвить: *«Никак нет, господин полковник, меня здесь нет, я всё ещё торчу на том фольварке, где вы меня бросили»*.

Князь зашагал мимо, но на ходу обернулся и крикнул:

— Винта сегодня не будет. Мы снимаемся с места!

Похоже, так оно и было. Внутри старинного здания царил полный разгром. Старший писарь деловито сжигал в печке старые приказы, предписания, ведомости и строевые записки корпуса, из подчинения которого они выходили. Телеграфисты и связисты спешно сматывали провода и паковали аппараты, вестовые складывали походные кровати и туго набивали сидоры и чемоданы. Солдаты и конвойные пребывали в состоянии мимолетного предэвакуационного оживления.

Для Каренина это был старый урок: никогда ничего не делай, всё равно в итоге окажется слишком поздно. Ведомый своей педантичной гражданской совестью, он изо всех сил пытался докопаться до самой сути этого дела. А ведь с тем же успехом мог бы просто разорвать эти бланки в клочья и пустить по ветру.

Хотя нет, эти Дорошевичи никогда бы не оставили всё как есть, пока не выбили бы из казны хоть какое-то удовлетворение. И староста, и представители нашей гражданской канцелярии, и бог весть кто еще обязательно подняли бы крик.

Степан Дмитриевич сел за стол и составил краткий, но чрезвычайно аккуратный рапорт, после чего отправил всю эту пухлую папку в Ровно — в управление по учету убытков, которое и ведало подобными делами.

\*\*\*

Последующие недели стали настоящей школой для отстраненного, сугубо гражданского ума Каренина. Прежде он привык быть частью полка, напоминавшего тесный семейный круг с хорошо знакомыми лицами и привычками. Теперь же он впервые увидел в движении целую армию, которая сама по себе казалась снявшимся с мест народом. На его глазах и отчасти его собственными трудами пятнадцать тысяч говорящих по-русски мужчин со всем полагающимся числом лошадей, повозок, движимого и недвижимого имущества погрузились в эшелоны, выгрузились из них и маршем или на колесах двинулись туда, где Каренину пришлось окончательно распрощаться со всеми прежними представлениями о жизни.

К «ничьей земле» и тянувшимся вдоль неё окопам он уже успел привыкнуть. Но здесь перед ним раскинулись версты бывшей «ничьей земли» — лишенной травы и жилья, перепаханной ураганным огнем в бурные волны, точь-в-точь как застывшее бурное море. Всё вокруг было застроено палатками и землянками, которые разделялись петляющими реками грязи или пыли, бывшими когда-то, еще несколько недель назад, дорогами. Сюда, подобно дивизии Каренина, влились еще двадцать других дивизий. Они пребывали в вечном движении, непрерывно струясь от тыловых железнодорожных станций вперед, к грохочущим орудиям, оставляя там половину своего человеческого материала, и отливали обратно к станциям, чтобы уступить место другим.

Сам он осел в крошечном блиндаже на склоне осыпающегося мелового холма, который делил с офицером связи. И в любое время дня и ночи мимо них шли, шли и шли люди, лошади, снова люди, пушки, опять люди, лошади, передки, люди, люди, люди.

По крайней мере, именно такими они ему и казались. Поскольку сама природа заставляла его спать в глухие ночные часы, а немцы вынуждали сидеть смирно в самое ясное дневное время, пик его работы приходился на предрассветные и вечерние сумерки. И эта адская процессия бесконечно стояла у него перед глазами. Ей не было конца. Она казалась беспросветной. Его обывательский ум никак не мог полюбить или хотя бы восхититься чем-то, настолько далеким от размеренного уюта и нерушимой безопасности, к которым он принадлежал и куда так отчаянно жаждал вернуться. Всё это было бессмысленно. С точностью бездушного механизма эта процессия зеркально двоилась: навстречу ей в противоположном направлении двигался точно такой же поток. Обозные телеги, санитарные двуколки, носилки, люди, люди, пушки, передки, люди, люди, люди. Всё шло вперед. А Каренин со своим товарищем и им подобные на протяжении двадцати верст вдоль линии фронта сортировали, отсеивали и поддерживали этот поток в непрерывном движении.

Этот его сосед был далеко не последней из причин для вечного недовольства Каренина. Парень был полной противоположностью Степану Дмитриевичу — как внешне, так и внутренне. Звали его Конашевич. Одним из немногих доступных Каренину утешений была возможность мысленно обзывать его «проклятым малороссом». Тот был (или собирался стать до войны) школьным учителем. И вторым худшим качеством в нём после его буйного южного происхождения была неистребимая страсть болтать и сочинять стихи. К тому же он совершенно не умел держать руки спокойно. Обе эти черты Каренин глубоко осуждал, приписывая их в равной степени полному отсутствию житейского опыта и профессиональной привычке слишком много жестиковать на службе связистом.

Да и нёс он такую чушь! Этот парень не затыкался ни на секунду. Он начинал вещать с самого раннего утра. К тому моменту весь ночной поток, уходивший на передовую, уже иссякал. На земле воцарялась пустота, нарушаемая лишь редким похлопыванием зениток, которые лениво постреливали по аэропланам высоко в ясной, пронзительной лазури. Каренин успевал побриться, отзавтракать и втайне надеялся хоть немного добрать сна, потерянного за ночь. Но разве этот балабол мог такое позволить? Как бы не так.

Послушать только, что он бормотал прямо сейчас под хлипким навесом, который они соорудили у входа в землянку для утреннего умывания. Он... декламировал — если это вообще можно было так назвать:

*«Бьют вечернюю зорю, ребята,*

*Отступают дозоры куда-то.*

*Ну-ка, чарки полней,*

*Пьём за встречу друзей!»*

— И вы называете это поэзией? — угрюмо буркнул Каренин.

— Нет, — легко отмахнулся тот.

Вышло довольно неловко. Каренин-то рассчитывал одним махом осадить наглеца. Сам он стихов не терпел, но попытался занять высокомерную позицию. Пришлось продолжать довольно натянуто:

— Вот как? И что же это тогда, по-вашему?

— Нагляднейшая картина умонастроений тысяча восемьсот двенадцатого года! Вы только сравните её с нашим тысяча девятьсот четырнадцатым. В ту старую войну против французов мы отчаянно матерились, горько пили, но побеждали. Как думаете, что этот же самый поэт написал бы про нас сегодняшних?

— Ничего бы он не написал, — вставил Каренин, но совершенно безуспешно.

— Ну, как-нибудь так:

*«Враг наступает сурово, ребята,*

*К авиаатаке готовится надо.*

*Будем мы вскоре*

*Грызть сухари в горе...»*

Что рифмуется со словом «надо»?

— Откуда мне знать? — угрюмо буркнул Каренин.

— Кроме шуток, Каренин! — воскликнул Конашевич (как будто Каренин до этого шутил). — Вы улавливаете самую суть этого нового лозунга? Разумеется, сухари неприкосновенного запаса и новое вооружение делают из человека куда более исправного воина, нежели барабанный бой, штыковые атаки и чарка водки. Но ведь весь задор, весь прежний кураж начисто испарился!

Каренин промолчал. Мимо по дороге как раз тянулся припозднившийся отряд сапёров какой-то особой команды. Из своего блиндажа Степан Дмитриевич видел лишь серые шинельные торсы на запылённых ногах. Голов было не разглядеть: верхняя балка над входом была вбита слишком низко.

Внезапно для самого себя он произнёс:

— Скажите, Конашевич, а вам никогда не казалось, что вся эта наша армия похожа на великана без головы?

— Что-что вы сказали?

Батюшки светы, что это он такое ляпнул?

— Да так, ничего, — поспешно отрезал он и прикусил губу.

Это определённо от недосыпа. К счастью, Конашевич толком не расслышал вопроса — он уже вовсю продолжал декламировать свои вирши:

*«Полковник наш скачет весело, прямо,*

*В атаку ведёт нас кудесно и гарно.*

*Кричит во весь рот:*

*„Примкнуть штыки и вне-рёд!“*

— Что за времена были, Каренин! Из вас вышел бы знатный полковник. Вы только представьте себя на холёном гнедом коне, как вы гарцуете вовсю! Нам решительно необходима школа задора и весёлости, точь-в-точь как школы штыкового боя или метания бомб. Вообразите, себя в высоком кивере, похожем на цилиндр, только с одним козырьком спереди, лакированным, да ещё с огромными медными цифрами!

Каренину страшно хотелось съязвить: *«Ну и фантазия у вас, любезный!»* — что должно было прозвучать как суровое осуждение. Но слова застряли у него в горле. Вместо этого он угрюмо буркнул:

— Всё это пустые разговоры. Вы точно не замечаете самого главного во всём этом безумии — чудовищного расточительства!

— Расточительства, дорогой мой? — В резком, бодром голосе Конашевича Степану Дмитриевичу почудилось назойливое, бесцеремонное чириканье скворца, пересмеивающего прохожих с яблоневого ветки. — Расточительство — это вовсе не серьёзно. Это старейшая шутка матушки-природы. Раньше её именовали Хаосом. Из него мы явились на свет, в него же в итоге и вернёмся. И назовут это Бессмертием. Канцелярия по учету потерь выдаст этому Бессмертию походный номер, деревянный крест и законное место на карте, но оно оттого не перестанет быть Бессмертием. От великих титанов до безвестных бедолаг — *«каждый в своей тесной могиле»*.

— Да бросьте вы, — поморщился Каренин с глубоким отвращением, не узнав цитаты из Жуковского. — Сразу видно, что вам никогда не доводилось командовать похоронной командой!

— Отчего же, доводилось. Я несколько месяцев отпахал на передовой, взводным командиром. А вы-то сами сколько там продержались?

— Примерно столько же.

— Верю вам на слово, хоть иные и усомнились бы.

— Тем более вам должно быть стыдно молоть такую чепуху. Это вовсе не шутки!

— Мой дорогой Каренин, если бы всё это не было одной большой мрачной шуткой, выносить это было бы решительно невозможно.

— Я совершенно не согласен, — отрезал Степан Дмитриевич. — Мы как раз и страдаем больше всего от подобного взгляда на вещи. Вы никак не поймёте, что эта армия — вовсе не сборище кадровых рубак. Это армия мирных обывателей, призванных по закону и присяге. Они здесь не ради забавы торчат.

— Полноте, Каренин, неужели вы совсем не верите, что войной можно наслаждаться?

— Я верю в то, что её нужно поскорее закончить.

— С таким умонастроением вам её век не закончить.

— Ах, не закончить? И что же, по-вашему, произошло бы, если бы я не следил, чтобы нужные люди попадали в нужное место, с нужными приказами и нужным снабжением — включая вас и ваших благословенных флагманов-сигнальщиков?

— Да это ничто по сравнению с тем, что случится, если солдаты начнут относиться к этой бойне как к обычному ремеслу! У вас нет кивера и холёного гнедого коня, но вы обязаны подыгрывать, будто они у вас есть!

— Какую же чушь вы несёте. У меня есть стальной шлем, потому что он защищает от шрапнели куда лучше кивера. И у меня есть обозные кобылы, потому что они переносят эту жизнь лучше породистых коней.

— Да, но разве вы восхищаетесь своим стальным шлемом? Неужели вы искренне любите этих кляч?

Что-то заставило Каренина сказать вопреки самому себе:

— Вообще-то, мне однажды попался солдат, который искренне заботился о своей лошади!

— Ну вот, а я о чём говорил! Держу пари, он-то как раз и выигрывал эту войну!

(«И зачем только я ему об этом сболтнул? — с досадой подумал Каренин. — Он же теперь из этого целую балладу сочинит»). Но вслух он лишь буркнул:

— Вы снова всё путаете, как обычно. Ничего подобного он не делал. Он просто умудрился устроить форменный скандал на постое!

— И правильно сделал. Большинство хозяев этого заслуживают!

— Возможно, но он выбрал самый худший способ из всех возможных!

— Ну, это ещё как посмотреть!

(Раздражающее чудовище!)

— Нет, тут и смотреть нечего. Вы когда-нибудь бывали в тамошних краях?

— Ещё бы! Меня ранило как раз у Радзивилловских конюшен, и мне пришлось тащиться почти две версты пешком, чтобы просто добраться до перевязочного пункта!

— Ну, значит, вы должны помнить в тех тылах фольварк, который местные называли «Радзивилловским»?

— Ещё бы не помнить! Огромная старая усадьба, ров с водой кругом и выгоны спереди и сзади.

— Ну так вот, этот парень, о котором я вам толкую, как раз квартировал там. Он был прикомандирован к конно-горной батарее и присматривал за лошадьми. Он вовсе не молол языком всякую чушь, как вы тут советуете. Одна его кобыла была ранена, а вторая совсем занемогла. И он выломал переднюю стену каплицы на углу, чтобы устроить для них хоть какое-то укрытие от ливня!

Эффект от этого рассказа оказался совсем не таким, какого ожидал Каренин.

— Это был неопишимо гнусный, святотатственный поступок! — вскинулся Конашевич.  
— Куда хуже, чем погубить хоть целый табун лошадей!

— Вы, надо полагать, католик? — прищурился Каренин.

— Да, католик!

— Я так и думал. Ну а я — нет, да и тот ездовой, о котором я говорю, тоже им не был. Он просто всем сердцем ненавидел всё это бессмысленное расточительство и гибель живых существ.

— И ради этого он уничтожил то, что куда более ценно и вечно?

— Он резонно посчитал, что живая скотина лучше мертвого святого.

— Он жестоко ошибался!

И после этого парень окончательно замолчал, сразу сделавшись мрачным и насупленным. Каренин был искренне доволен своей победой в споре. Он подождал с минуту, перевернулся на бок и заснул — так, как умеют спать только люди, живущие под открытым небом, в ежеминутной опасности для жизни, и отдающие лучшую часть ночи непрерывным трудам.

Когда вестовой разбудил его, принеся ужин, новые предписания и списки ночных обозов и грузов, на дворе стоял удивительный золотисто-багряный закат, содрогавшийся от вечернего артиллерийского «гостинца». Пурпурные тени удлинились уже настолько, чтобы позволить начать эвакуацию раненых в тыл.

Дорога запрудилась санитарными двуколками и редкими грузовиками, которые завывали и скрежетали тормозами, останавливаясь, сдавая назад и снова трогаясь с места. Тем временем мерный, пунктуальный грохот, раздававшийся строго раз в минуту, свидетельствовал о том, что германец методично обстреливал либо сам тракт, либо один из бесчисленных лагерей и складов, разбросанных поблизости.

Даже посреди этого кромешного адского шума Конашевич не затыкался, а продолжал декламировать во всю глотку. У Каренина закралось смутное подозрение, что истинной причиной этой болтовни было банальное стремление заглушить страх. Нервная дрожь исподволь росла в людях по мере того, как военные дни катились один за другим, а вероятность словить свою пулю или осколок неумолимо увеличивалась.

Тем более что высоко в небе аэропланы, кружившие и пикировавшие подобно рою блестящих мух, вызывали на себя ожесточенный огонь зенитных батарей. И повсюду вокруг на землю с воем и свистом сыпались крупные зазубренные осколки, чей грохот почти сливался со скрежетом санитарных повозок.

Педантичный ум Каренина вскоре потребовал решительных действий. Несколько раненых, скончавшихся по пути на перевязочный пункт, были выложены прямо у обочины: у санитаров и без того хватало забот, чтобы везти мертвые тела за десять верст в тыл. Степан Дмитриевич отправился лично удостовериться, что полковой врач уже вызвал похоронную команду. Он был свято уверен, что вид брошенных тел скверно сказывается на боевом духе нижних чинов.

Когда он вернулся в землянку, Конашевич продолжал «вещать», склонившись над картой прокладки новых линий дивизионного телеграфного кабеля и напоминая ворону на заборе:

— Видали этих бедолаг, Каренин?

*«Тот, кто погиб до казенного срока,*

*Чья на Вольни могила дика...*

*Пал он, не зная страха-упрёка,*

*Как подобает бойцу полка!»*

— Вы как предпочитаете латынь произносить: на манер Юлия Цезаря или как гимназист-недоучка из младших классов?

— Я в неё вообще не верю. Пустая трата времени!

— Каренин, да вы циник!

— Называйте как хотите, лишь бы вы наметили трассу для своей кабельной линии. Завтра утром у меня прибывают команды, чтобы зарывать её в землю!

— Я буду готов. Только представьте, Каренин: весь этот язык — а ведь язык есть не что иное, как упорядоченная мысль — мы зарываем глубоко в землю!

— Мне мыслей и без того хватает, когда я думаю обо всех тех людях, которых зарыли в землю. Мы теряем слишком многих!

Сражения были для Каренина горьким и отрезвляющим опытом.

— Это лишь доказывает, как вы неправы. Мы смертны. Мы гибнем. Но наши слова будут жить.

— Чушь! Вы хотите сказать, что донесение вроде: «25-й поле сменяет вас завтра, Н-ская див., точка, точка, точка» — будет жить? С какой стати? Через четыре дня его отменят. Кому нужно его увековечивать?

— Я не согласен с вами, Каренин, искренне не согласен. Мы переживаем величайший кризис в нашей жизни, а возможно, и в жизни всей европейской цивилизации. Какое-нибудь пустяковое распоряжение, которое мы с вами передаём, на деле может означать: «Цивилизация повержена, варварство восторжествовало!». Или же оно может означать — я надеюсь на это: «Возвожу очи мои к горам, откуда...»

— Я бы попросил вас не паясничать по поводу Священного Писания!

— Я и не думаю паясничать, и вы скоро сами это поймёте. Люди будут сражаться до тех пор, пока им есть за что сражаться!

— Ну, так им есть за что. Они хотят вернуться домой. Ради этого они будут драться как черти.

— Вовсе нет. Не это заставляет их идти в бой. Скорее уж это заставит их дезертировать. Им нужна идея.

— Да сыты они уже этими идеями, как мне кажется. Помнится, все стены были заклеены плакатами, и на каждом — по новой идее.

— Те идеи были слишком поверхностными и мимолётными. Им нужно чувствовать, что они сами представляют собой нечто важное, или делают что-то настолько значительное, что уже не имеет значения, выживут они или умрут!

— Это в корне неверно. Имеет значение. В этой войне победит та сторона, у которой останется больше людей и больше снарядов.

— Глупости. Победит та сторона, у которой окажется больше веры.

— Ну и отлично, вот и веруйте в свою кабельную линию. А мне нужно верить в эти рабочие команды.

Сгустились сумерки, достаточные для того, чтобы основная масса войск пришла в движение. Широкая долина внизу потонула в ультрамариновой тени, а округлые склоны холмов едва тлели лимонным отсветом вечерней зари. Вверх по облаку меловой пыли, обозначавшему место, где когда-то вилась дорога — обычный просёлок между двумя глухими деревушками, ставший ныне главной транспортной артерией целого армейского корпуса, — неостановимым потоком хлынула процессия: люди, люди, люди, зарядные ящики, люди, обозные лошади, пушки, люди.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.